

АННИ ЭПЕЛЬБУАН (Париж)

Мераб Мамардашвили — гражданин мира

Прежде всего я хотела бы сказать, что я не философ, не специалист по русской философии или даже по философии Мераба Мамардашвили. Я, правда, издала сразу после его смерти книжечку бесед с ним под названием “Мысль под запретом”. Я смогла сделать это быстро, поскольку у меня уже была обработанная запись этих бесед, которую я составила незадолго до его смерти для французской радиостанции France Culture. Потом — год назад — меня попросили написать предисловие к французскому изданию его “Картезианских размышлений” (издательство Actes Sud). Я сначала отказывалась, считая, что это должен сделать философ, а потом все-таки согласилась. Вот и сейчас — меня попросили выступить и рассказать о моих встречах с Мамардашвили. Признаюсь, я совсем не уверена, что читателя заинтересуют замечания в основном личного характера, основанные либо на московских воспоминаниях, либо на материале записей и даже куска из фильма, который мы снимали — точнее, снимал его французский режиссер Крис Маркер (Chris Marker) уже в Тбилиси.

Для начала я поделюсь своим опытом — опытом молодой тогда студентки из Сорбонны, приехавшей в Москву в начале 70-х годов на стажировку в МГУ. Я расскажу о том, как я тогда воспринимала эту весьма нетипичную фигуру на фоне советской интеллектуальной жизни, как я ее для себя в тот период открывала.

Я занималась Андреем Платоновым, о котором незадолго до этого написала дипломную работу. И потому я уже тогда была знакома с целым рядом публикаций и с некоторыми исследователями-литературоведами. А через Платонова я уже смогла как-то понять суть советского эксперимента.

Философию в выпускном классе мне преподавала известный философ Сара Кофман. Она вместе с Жан-Люком Нанси и Филиппом Лагу-Лабартом была из тех молодых ученых, которые пытались вдохнуть в философию жизнь. Много позже я познакомилась с Мамардашвили с нею. Сара Кофман не сделала из меня философа, но привила мне вкус к философии.

А лекции Мамардашвили и разговоры с ним меня сразу же потрясли: в них я увидела прямое продолжение того, что слышала от С. Кофман или в Сорбонне. Это было для меня парадоксом — вновь открыть в Москве то, что я, казалось бы, оставила в Париже, по ту сторону железного занавеса.

Вот что поразило меня в Мамардашвили:

— его классическая и одновременно по-настоящему современная эрудиция (об этом я потом расскажу по-подробнее);

— богатство и гибкость его языка — по крайней мере его французского языка, поскольку в основном мы с ним общались по-французски;

— его свободное и несколько беспечное отношение к окружающему, равнодушие ко всяким советским нормам приличия, цензуры и самоцензуры.

К этому можно добавить еще и его манеру одеваться: его всегда отличала небрежная элегантность — на фоне унылых советских пиджаков, помятых брюк. У него были всего одни вельветовые джинсы, но носил он их с красивыми свитерами. А вот в костюме я его не видела никогда.

Впрочем, тот фон, на котором я воспринимала Мамардашвили во всей его “несоветскости”, не был однородным. Наряду с серостью и унынием встречались и кричащая эксцентричность в поведении, в рассуждениях. А он отличался и от тех и от других.

Но еще важнее, наверное, вот что. В тех публикациях, которые я читала, мне почти всегда казалось трудным или вообще невозможным понять мысли автора (если они были), разглядеть их за эзоповым языком, за набором заранее заданных предпосылок, обязательных цитат...

А в разговоре с Мамардашвили все было прямо, лаконично, удачно и интересно сформулировано...

При этом те формы протеста, которые я в те годы наблюдала в Москве, предполагали, как правило, обращение к религии — либо как к главной теме рефлексии, либо как к форме жизни. А у него я видела не поведение оппозиционера: — и потом не мне тут судить, — а постоянную внутреннюю свободу и плюс к тому желание развить чувство внутренней свободы у собеседника.

Он утверждал свой личный выбор, но ценил и личный выбор другого, не упрекал за несходство... Вот, например, как-то раз на его лекции я сидела в последних рядах, наблюдая за аудиторией. Он говорил о том, что тремя китами современной философии являются Ницше, Фрейд и Маркс. После лекции я спросила: “А откуда эти студенты достанут книги Фрейда или Ницше?” А он в ответ: “Пусть прочитают что-нибудь другое, пусть найдут свои книги...”

Он относился к своей аудитории очень бережно, но заботы о воспитании учеников у него не было. Ему было

важнее, чтобы каждый сам искал себе путь в жизни, в творчестве, в чтении.

И еще одна важная деталь почти эстетического порядка: он ненавидел жалобы, уныние. В этом был, пожалуй, единственный след его грузинского воспитания: жаловаться на людей, на окружающее — недостойно. Сам он называл это свое умение радоваться без всякого повода “la joie gratuite” [беспричинная радость]. Если случалась какая-нибудь неприятность, он старался тут же противопоставить этому пусть небольшие, но радости жизни (вкусный обед, хорошее чтение, встреча с другом, вечер в гостях, например, у какого-нибудь иностранного корреспондента).

Теперь позволю себе напомнить (возможно, многие это знают) о некоторых важных моментах его биографии, про которые он не раз мне рассказывал и которые я иногда записывала на протяжении этих двадцати лет нашего знакомства.

Сначала о его пребывании в Праге, где в 60-е годы он работал в журнале “Проблемы мира и социализма”. Этот журнал издавался на многих языках, и это давало Мамардашвили возможность встречаться с иностранцами, с разными интересными людьми. В самом деле, международная редколлегия журнала объединяла интеллектуалов-марксистов со всего мира. На Западе в то время левые убеждения не были каиновой печатью — их носители нередко принадлежали к интеллектуальной элите. Они встречались и между собой, и с пражскими интеллектуалами — в многочисленных кафе, которые Мамардашвили так полюбил. В этих кафе, словно созданных для бесед, можно было обсуждать что угодно, с кем угодно и как угодно... С одним французом, встреченным в Праге, Мамардашвили потом поддерживал теплые дружеские отношения. Этот француз по имени Пьер увлек его джазом, чтением современной французской литера-

туры, а также детективных романов. Еще из Праги он оформлял своему другу из СССР приглашения в Париж, куда Мамардашвили довольно часто ездил в командировки начиная с 1962 года. А уже после Праги, в 1967 году, когда Мамардашвили был в командировке в Италии, кто-то из его французских друзей приехал за ним и отвез его без визы в Париж, где он прожил месяц без всякого разрешения. За такое его уже до самой перестройки больше не выпускали за границу, что было для него очень тяжело.

В тот раз в Париже он познакомился с Альтюссером, и они до конца остались друзьями. Я была непосредственным тому свидетелем, поскольку в 1970-е годы я дружила с Альтюссером — через Мамардашвили — и до последних лет его жизни возила письма от одного к другому. Первоначальным толчком к их сближению был их общий интерес к Марксу (однако Мамардашвили смеялся до слез, говоря об увлечении Альтюссера сочинениями Ленина). Каждый из них имел свой собственный опыт нового подхода к Марксу. Однако они оставались близкими друзьями, продолжали переписываться и заботиться друг о друге даже тогда, когда — уже в начале 70-х годов — стали явными различия в их подходах. В этот период Мамардашвили уже неохотно ссылался на Маркса. И в переписке они говорили уже не о философии, а о жизни, чувствах.

Вспоминаю один интересный случай. В 1973 или в 1974 году Альтюссер попросил меня отвезти в Москву и передать Мамардашвили книжку “Ответ Джону Льюису”. Мне было неловко за Альтюссера перед Мамардашвили: мне не нравилась эта книга, и я знала, что она ему не понравится. Я передала книжку и ждала его реакции. Он взял ее, прочитал полстраницы и — неожиданно для меня — заявил: “Какой у него прекрасный язык, он может позволить себе иметь свой собственный

стиль! А я никогда не смогу это себе позволить!" И он стал мне объяснять, почему у него самого такой тяжелый, малопонятный язык в статьях — чтобы легче было обойти цензуру! Я почувствовала, насколько ему было тяжело признаться, что он не может писать в своей собственной манере.

Мне кажется, именно поэтому он предпочитал устную речь письменной. В устной речи он чувствовал себя более свободным, он видел больше возможностей для ярких импровизаций, метафор, игры слов. Необходимость пользоваться русским письменным языком была для него чуть ли не наказанием.

Во французском языке, на котором он говорил превосходно, он чувствовал себя как рыба в воде. Он явно наслаждался французским языком. Когда я с ним общалась по-французски, это было настоящее удовольствие — не столько из-за его эрудиции, сколько из-за его владения языком как таковым.

Теперь остановлюсь на эрудиции Мамардашвили. Источники ее были различные: первым из них стало юношеское чтение. В чем-то он был провинциалом, поскольку десять лет, с 1937 по 1947 год провел в Тбилиси, на окраине советской империи. Там он читал французскую литературу, сразу же полюбил Монтескье, Расина, Монтеня, которых брал в библиотеке; потом в нищей послевоенной Москве он смог купить кое-какие редкие книги, которые продавались прямо на улице. А потом в Праге он общался в основном по-французски и прочитал немало книг, которые ему давал его друг-француз; между прочим, именно в Праге Мамардашвили открыл для себя Пруста, но прежде всего увлекался романами Селина, его уникальным языком.

После этого в Москве друзья систематически передавали ему книги из-за границы; например, книгу Делеза и Гваттари "Анти-Эдип" он мог получить от

Ж.-П. Вернана (я помню, как Мамардашвили и Вернан в моем присутствии спорили об “Анти-Эдипе”), сама я открыла для себя книгу Умберто Эко “L’oeuvre ouverte” через Мамардашвили — он дал мне ее почитать. И еще один источник: Мамардашвили нередко имел в своем распоряжении книги, которых не оказывалось ни в обычных библиотеках, ни даже в спецхранах (быть может, их присылали западные издательства для рецензирования и рекламы), я тогда удивлялась, насколько он был в курсе того, что издается в Париже; эти книги он давал читать другим, но сам мало о них писал.

И напоследок расскажу о взаимоотношениях Мамардашвили с французским языком. Тут я хочу подчеркнуть, что его отличало не какое-то совершенство стандартного языка, книжного языка (как, например, у Великовского или Эткинда). Мамардашвили говорил на изумительно гибком языке. У него была удивительно богатая лексика. Он ярко пользовался различными регистрами языка — арготизмами, просторечием. Воровской жаргон он извлекал из столь любимых им полицейских романов — он прочитал их огромное количество уже в Праге, причем не столько ради развлечения, сколько ради языка, его метафорической яркости, его чувственности, как у Селина, его арготичности.

Он творчески обращался с французским языком и говорил по-французски скорее как поэт, прибегая к удачным неологизмам, к внутренним цитатам. Он объяснял свое увлечение французским языком особым музыкальным качеством, которое он называл “le phrasé musical du français”.

Вот пример фразы с характерным для Мамардашвили просторечием, сказанной по поводу Сартра: “Bon, bof, pauvre type, il a raté sa vocation intellectuelle!” А вот другой, более яркий пример — в нем есть просторечные и собственно “поэтические” моменты. Это цитата из пись-

ма Альтюссеру, написанного в 1974 году из Ялты, где он тогда отдыхал. Мамардашвили приглашал Альтюссера в Москву на Гегелевский конгресс: "Arrive de toutes façons: je m'en fous pas mal de Hegel ici (et ailleurs). Je divague devant les vagues. Et je lis Proust et Apollinaire. Nous sommes tous des mal-aimés [заглавие известного стихотворения Аполлинера²], et par là je m'entends pas seulement les femmes. Y a aussi des pays et d'autres choses" [Из фонда Альтюссера, Литературный архив, ИМЕС, Париж]. Тут совмещаются арготизмы, просторечие ("arrive" вместо "viens", "je m'en fous pas mal" вместо "m'est parfaitement indifférent", "y a aussi" вместо "il y a"), ассонансы, игра слов ("je divague devant les vagues"), выразительное расширение аполлинеровского образа, придание ему почти всемирного масштаба ("mal-aimés de certains pays").

Его письма были предельно сжатыми, где все могло быть сказано в нескольких сгущенных формулировках.

Мамардашвили с увлечением читал французскую поэзию, хорошо знал Бодлера, цитировал почти неизвестные его строки. Вслед за Рабле он называл смерть "le grand jamais" или "la samarde". Но и итальянский он знал превосходно, хотя выучил его позже, чем французский. Наверное, владение языками позволяло ему чувствовать себя гражданином мира, и это было для него очень важно.

¹ La pensée empêchée. Ed. De l'Aube, p. 37. Пер. Мысль под запретом. — В журнале: Вопросы философии, № 5, 1992.

² Cf. Apollinaire. La chanson du Mal-Aimé (из сб. Alcools):

Mon beau navire ô ma mémoire

Avons-nous assez navigué

Dans une onde mauvaise à boire

Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir.